

– А ты с кем-то едешь?

– Ох, дорогая! Было бы мне с кем ехать – я бы дома сидела!

– Береги себя! И ноги свои прекрасные береги! – Я постараюсь. Мои ноги особенно хорошо смотрятся в паре.

– Как думаешь, зонтик брать?

– Даша, ёшкин кот! Бронежилет бери!

– Угу, выкладываю...

ДОРОГА

Проехали Елец.

Водитель из Макеевки, попутчик из Енакиево.

Мне удаётся прекрасно отмалчиваться на заднем сиденье в обнимку с зимней резиной, которую водитель везёт домой из Москвы.

На границе, говорят, столпотворение, планируем туда попасть к двум часам ночи.

Деревья с одной стороны трассы голые, а с другой – рыжие и пышные. Воздух дальних странствий убаюкивает, и почти всю дорогу я сплю безмятежным сном.

Границу прошли за двадцать минут в Успенке.

– Вывеску сменили, – сказал водитель. – Раньше висела без последней буквы, простреленная вся, позорище такое.

– Простреленная?

– Из автомата.

На улице ветер сбивает с ног. Жёлтый месяц лежит на боку, звёзды. Никакого зарева вдали. Спросонья трясусь.

– Мне надо квиток какой-то заполнять на проезд?

– Нет, россиянам только паспорт нужен.

Необжитая таможня похожа на старую автозаправку. Дзэнэровская девушка в казпешной ветровке, сидя в деревянной будочке, пролиставла мой паспорт и кивнула, мол, свободна. Машин практически нет.

Встали до пяти на стоянку неподалёку от каменных звёзд-волнорезов, какими укрепляют морские берега. Здесь, вероятно, их использовали вместо заградительных «ежей». Комендантский час по всей Новороссии, пешеходам и машинам путь закрыт. Я сплю, попутчики смотрят «Комеди-клуб» на планшете.

Ровно в пять вырुливаем на трассу.

– А вот тут стоял блокпост, – говорит водитель, – и здесь большой стоял. Палатки, заграждения, мешки с песком. Бомжи с автоматами.

– Почему – бомжи?

– А какой идиот согласится стоять на улице круглые сутки? Это потом, когда ополчение набрали, поставили нормальных, а сначала бомжам да алкашам автоматы выдали, их вообще всем тогда выдавали, народ понабрал, прикопал... Тут же у каждого второго автомат. А бомжи те напьются к ночи, давай в воздух палить...

«Живут же люди...» – думаю со странной смесью страха и уважения.

– Дороги как отремонтировали после танков! А то яма на яме была. Хоть Самару возьми – там теперь дороги хуже, чем здесь. Вот налево, смотри, ночной клуб «Шоколад», рядом бильярд и боулинг. Популярные места. И под обстрелами работали. Я туда заезжал обедать. Правда, тут обстрелов и не было почти.

Мы проезжаем Макеевку.

– А сейчас блокпостов не осталось?

– Сняли почти год назад. Р-р-раз – и ни одного. Да и зачем они нужны? Ни досмотра толком не было, ни проверки документов. Только движение задерживали.

В квартире, где меня приютили, уже поменяли стёкла, но балконные, мелко потрескавшиеся, ещё заклеены листами полиэтилена. Жёлтый ларёк под окнами сильно пострадал от обстрелов и теперь закрыт. Дом напротив ремонтируется. Дворец молодёжи «Юность» тоже остался без стёкол и теперь затянут парусиной, но люди там не прекращали работать даже в 14-м году.

В Донецке сейчас тихо, но, говорят, ночью обстреливали Луганск и довели его едва не до эвакуации.

ПЕРВЫЙ ДЕНЬ

В десять утра мы с Мариной, у которой я остановилась, сели на трамвай №1 и отправились в макеевскую школу развлекать второклашек детскими стихами и сказками.

Перед выходом я поняла, что потеряла шапку, и Марина выдала мне свою, которая постоянно сползает на затылок, оголяя уши.

Полноценный трамвайный путь только недавно восстановили, прежде рельсы были разбомблены, и трёхрублёвый трамвай ходил по укороченному маршруту. Мы ехали мимо громоздкого дома культуры «Юность», что под ветром хлопал парусиной, обнажая тёмные провалы второго этажа, а над входом красовался призыв-растяжка: «МЫ РАБОТАЕМ!» со смайликом. Мимо оскаленного ряда разбитых тёмных ларьков с надписью: «ПРОДАМ ДЁШЕВО». Мимо светлых фасадов с тёмными пятнами обстрелов. Мимо целёхонькой шайбы «Донбасс-арены» с красивыми лицами футболистов на бесконечном фасаде.

Потом прошли через рынок и сели на маршрутку. Но уже за 15 российских рублей с носа. Да, тут наша валюта.

– А вон то здание горело ещё до войны, – показала Марина.

Сидящая рядом тётя возмутилась:

– Как это – до войны?! Уже всё началось!

– Это в Славянске началось, а у нас тихо было.

Здание то ли подожгли, то ли взорвали.

– Правильно – Славянск? – удивилась я.

– Да, а ещё Снежное. По такому ударению легко узнать местных.

А вот там сгорела семья в машине, теперь на этом месте крест. А вот туда прилетел снаряд, вход и окна в здание заложили кирпичами. А на берегу реки, в этом лесном массиве, много площадок для отдыха. А это ТЮЗ, он работал во время войны, вообще все театры работали, актёры прямо в них жили, потому что домой далеко, к тому же под обстрелом, вот и бегали за кулисами с кастрюльками. Зрительные залы были битком набиты. Снаружи дикие обстрелы, всё сотрясается, а мы внутри сидим и смотрим конкурс творчества детей из Иловайска, Горловки... А на спектакль билеты добывать надо, просто так не купишь. Нет, конкретно этот микрорайон не обстреливался, но вообще сюда прилетало.

На улице холодно, и в школе не жарко. Указатель «Убежище» развешан по всем лестницам и коридорам. Он ведёт в бесконечный подвал со множеством раскладушек, запасом питьевой воды в бочке и технической – в запаянной вагонетке.

– А туалет? – интересуюсь.

– А наверху, прямо возле входа! – безмятежно отвечает завхоз.

– Мы же сюда не надолго спускаемся, – подтвердила библиотекарь, – обстрелы быстро кончаются, да и нет их сейчас. Это в прошлом году по три раза за день – малышей хватать и бежишь вниз. Недавно учения проводили, отрепетировали всё до мелочей. Пойдёмте, уже пора.

Мы проходим в зал. Сегодня посвящение второклашек в читатели библиотеки. Дети нарядные, с блестящими

глазами. Сначала мы читаем им стихи, потом они нам. Хорошо, кстати, читают, без вселенского надрыва.

Потом мы удираем на другой литературный вечер – Марина должна читать в торговом институте. Здесь просто аншлаг: парни и девчата – человек сорок – слушают стихи изо всех сил напрягая внимание. В зал то и дело прокрадываются новые фигуры и осторожно присаживаются на свободные стулья.

К середине дня растеплилось, и когда мы снова выходим на улицу, я не надеваю шапку. Всё равно сползёт.

Говорят, снова начинается обострение – на окраинах бахает так, как люди уже отвыкли. Мы в центре, у нас пока не слышно.

Завтра Иверская, хотим попасть на службу.

ПРИЧАСТИЕ

Встали в рань раннюю, закутались в самое тёплое («Учти, – сказала Марина, – стоять придётся почти на улице, а там взлётка, ветра страшные!») и стали вызывать такси. Честно предупредили диспетчера, что ехать надо в Иверский женский монастырь. Почти на передовую.

Первый таксист позвонил и долго допытывался, знаем ли мы, где это, зачем нам туда надо и не журналисты ли мы.

– Ну, пусть журналисты! – утомлённо ответила Марина.

Таксист долго мялся, потом сказал, что нам перезвонят, и пропал. На новый звонок диспетчер сообщила: сейчас пришлют другого, а этот отказался, несмотря на уговоры, что сейчас в районе аэропорта тихо.

Второй оказался рубахой-парнем: таксовал даже во время войны во всех районах.

– Я на животных смотрю. Только заметались – значит, пора делать ноги. Однажды так попал возле шиномонтажки – колесо спустило. А там ни работников, ни хозяев.

И обстрел! Кое-как выбрался. И вроде страха нет, а руки трясутся. Вот мост был совсем разрушен, отстроили, залатали. Видишь, какой бордюр? Он новый, недавно установили.

Бордюры обкусаны и покрошены, как печенье. Асфальт в круглых заплатках.

Частный сектор за мостом похож на громадную свалку: старые и новые дома одинаково разбиты, дырявые заваленные заборы, перекошенные кровли, обгоревшее железо и дерево лежит вповалку и вперемешку. Люди только-только сюда возвращаются. Стаи брошенных собак пасутся у обочины. Бегут к машине с умильными мордами. Кошек давно нет.

– Собаки их поели. А кто кормить будет? Правда, я привозил сюда женщину, она им большую кастрюлю варёва скармливала. Ты гляди, дорогу расчистили! А то деревья поперёк лежали.

На повороте к монастырю таксист выключает навигатор. По навигатору с той стороны фронта может прилететь мина.

В широком жёлтом поле застыли позвоночники и рёбра зданий. Рядом с дорогой из высокой травы выглядывает крест, потом памятник из гранита, и вдруг я понимаю, что это не поле, это кладбище: разбитое и разбомблённое.

– Тут заминировано, – предупреждает Марина, – и растяжки стоят. Ходим только по дороге!

Я киваю.

Здания вдали – это монастырь. Церковь иссечена осколками, деревянная трапезная сгорела, келейный корпус изуродован. Какие-то подсобные помещения разрушены бомбёжкой, и возле них застыла клумбочка с розами.

Сестры расселены по разным частям города, но каждый день приезжают в разорённую обитель и потихоньку

её восстанавливают. Возле теплушки с деревянным отоплением – кладка собранных кирпичей. На сохранившемся куске забора надпись:

«Стыдно воровать в разрушенном женском монастыре!!!»

Небольшой храм Иверской иконы Божьей Матери до отказа забит бабульками. Детей двое или трое, один младенец покрикивает на руках у матери. Мужчин примерно столько же, один даже не снял шапку, а я, кажется, впервые в жизни рада, что родилась девочкой и можно не обнажать голову: в воздухе царит утренняя минусовая температура, и ветер, летящий сквозь пробоины в полуметровых стенах храма, заставляет прихожан теснее жаться друг к другу.

Праздничную службу вёл архиепископ Макеевский Варнава, он прибыл сразу за нами и благословил, проходя мимо. Потом мимо прошла тонкая монахиня с юным лицом и золотым настоятельским крестом на шее.

– Это что – игуменья? – удивилась я.

Марина кивнула.

Под железным скелетом купола положили новые доски, и служба идёт не под совсем открытым небом. Полностью обнажён алтарь, царские врата вынесло взрывами, кое-где на обглоданных колоннах сохранился красивый бесцветный орнамент. Фрески под потолком были написаны то ли на ткани, то ли на ином покрытии стен, и сейчас, оторванная с верхнего угла, ткань упала к своему подолу и скрыла рисунок от посторонних глаз, и ангел рядом тянется помочь, но не умеет, и никакой муки бессилия нет на его лице. Всё в руках Божьих.

Внизу к листу ДСП прикручена расстрелянная икона Иверской.

Холодно, невероятно холодно, от дыхания священников и прихожан вверх поднимается пар, его тут же сносит воющим ветром.

Когда клирос запекает «Иже херувиме», на меня сквозь пробоину в стене падает солнечный луч. Подставляю ему обледеневший нос и тут же начинаю хлюпать. Хлюпают все вокруг. Холодно, очень холодно. Поминутно открывается входная дверь, и ветер врывается в толпу, скользит между пуховиками и пальто, остужает ноги.

Я не готовилась, но батюшка разрешил причаститься, и я понимаю, что не уйду из этого истерзанного храма, даже если завоюет не ветер, а железо. И служба не прекратится.

Причащают из двух чаш, а теплоту дают горячей, и я беру её дважды, чтобы согреться. Оказывается, расстрелянная икона прежде хранилась в библиотеке, а под обстрел попала при переезде. После этого её определили на постой в разрушенный, но живущий храм.

На Крестный ход мы не идём, а идём на кладбище с местным поэтом Павлом Ивановичем. Знакомиться с его родственниками. Вчера он читал мне свои военные стихи, и я сказала, что в них много злобы.

– Пойдёмте, я покажу, что они сделали с надгробиями, поймёшь, откуда злоба!

С дорожки он сходит в траву, и на испуганный окрик Марины отвечает, что всё тут излазал, конкретно на этой стёжке мин нет.

– Они в мае прямо на дороге лежали – не пройти. А сейчас-то что...

Сослепу путаюсь в проволоке-ограждении и внезапной волной понимаю: хорошо, что не растяжка. Гранитные надгробия разбиты на куски и собраны в кучу, некоторые покойники глядят половиной лица, от других ничего не осталось над землёй. – Видишь вышку?

Вдали торчит нечто покорёженное и страшное. – Это аэропорт, диспетчерская вышка. Там снайпер сидел, он и по кладбищу тоже стрелял, по похоронным процессиям.

Я не спрашиваю, зачем. Этот вопрос не имеет здесь ответа. Кусок брусчатки качается под ногой, я делаю несколько шагов в сторону и получаю вопль в спину:

– Вернись!

– Не надо никуда отходить, – быстро говорит

Марина. – Тут бывало, и под брусчатку мины закладывали, подрывались люди.

Осторожно обхожу качающийся кусок. Вдали падают бетонные плиты или сваи вколачивают в землю по горло.

Марина смотрит на меня:

– Слышишь? Началось.

– У них перемирие до трёх. Обещали не стрелять по монастырю, – уточняет Павел Иванович.

Уже половина первого. С неба жарит такое яркое солнце, что даже ветер не мешает нам согреться. Возле храма прихожанам раздают ватрушки. Вкусные. С крыльца спускается архиепископ, и мы снова попадаем под благословение.

В последний раз служба здесь велась в мае, и тогда тоже договаривались о перемирии на полдня.

Павел Иванович приехал с братом на машине.

– Поедем, посмотрим хоть издали, – просит он, и брат соглашается проехать неподалёку от его разрушенного бомбёжкой дома.

Здесь трудно найти дом без осколочных ранений, и повсеместно – обвалившиеся кровли, дыры в стенах. Новые предвоенные дома похожи на истерзанных детей.

– Здесь воинская часть была. По казармам целили.

От казарм мало что осталось.

Брат Павла Ивановича подбросил нас до вокзала. Зеркальный фасад частично разбит, пластиковые навесы над перроном почти уничтожены. Выбиты стёкла в стареньких вагонах и тепловозах – экспонатах ж/д музея. Но стекла под ногами нет – дворники работают, несмотря

ни на что. Всё аккуратно прибрано, и человек невнимательный мог бы не заметить городских травм.

Домой возвращаемся трамваем, он медленно тянется сквозь частный сектор, сквозь пустые склады-ангары с широкими дырами в крышах и заклеенными крест-накрест окнами, сквозь овраги с поваленными деревьями.

– Тут фазаны на дорогу выскакивают, – говорит Марина. – Однажды вышел из кустов и встал перед трамваем как ни в чём не бывало. Руки в боки. Водитель ему гудел-гудел, еле согнал.

– А окна заклеены, как в Великую Отечественную.

– Все заклеивали. Скотчем простым или бумажным. Тут же главное, чтобы осколки не полетели. Взрывом выбивало и стекло, и пластик. А если окна с обеих сторон? Встанешь в углу между стен, сумку к груди прижмёшь и ждёшь, пока не кончится. Представляешь?

Нет, я не представляю.

Через два часа позвонил Павел Иванович и сообщил, что перемирие закончилось. Опять стреляют.

МУЗЕЙНЫЙ ДЕНЬ

Сегодня Марина читала лекции в институте, а потому сдала меня на попечение своему товарищу из министерства культуры, по совместительству прозаику и драматургу преклонных лет В.И.

Мы с ним пошли по музеям.

Сначала – в многострадальный Краеведческий, чьё здание на треть разбомбили представители антитеррористической операции. По иронии судьбы бомбы ложились точно на зал истории Украины. Сейчас это крыло восстановлено и перестроено, сделаны окна во всю стену, надстроен третий этаж. Новую кирпичную кладку видно: она

идёт по диагонали от земли до крыши, опираясь на треугольник старой. Внешней отделкой пока не занимались, но есть предложения оставить эту стену в таком виде навсегда – на память о войне.

Нас заставляют сдать не только верхнюю одежду, но и сумки, и по залам ходим налегке.

От бомбёжек экспонаты пострадали сильно, и на обозрение выставлены – святая святых! – музейные фонды.

– Тут же раскопки проводили почти археологические! – объясняет В. И. – Волонтёры слой за слоем снимали, так всё перемешалось!

Первый зал посвящён знаменитым землякам, их много, начиная от Сергея Прокофьева (село Красное Донецкой области) и заканчивая космонавтом Береговым (Енакиево). А Леонид Быков и Иосиф Кобзон и вовсе в одной краматорской школе учились.

Экспонатов не то чтобы мало, а как-то невпопад: выставлены без выработанной годами логики. Видно, что работники музея очень не хотели прекращать работу хоть на время, а потому для общего начала поставили возле одной стены соху и вилы, манекены в дамских нарядах начала XX века, пролётку и костюм космонавта с борщом в тубике и гречневой кашей в пакете.

В других залах представлена посуда разных веков, фауна Донбасса и школьные годы чудесные – от кружевных манжет царских гимназий до кукол в пионерской форме.

– Я за такой партой сидел! Вот точно за такой! Только у нас крышка откидная была. Да ты, поди, такого и не помнишь!

Я тяжело вздыхаю, поскольку тоже сидела за такими партами, но в мой солидный возраст никто не верит.

– И вот такая люстра у нас была! – показывает В. И. на керосиновую люстру с зелёным абажуром, висящую над сценой семейного быта 50-х годов.

– Люстра пострадала, – говорит хранительница зала. – Треснула, кусок откололся, приклеили временно на скотч. Видите, где тень от крепления? Снаряд упал прямо перед порогом музея, нас ель защитила: высокая была, густая. А без неё неизвестно что бы тут было.

Это крыло стоит симметрично тому – разбомблённому, в тридцати метрах от него.

Сейчас от ели остался пенёк, у двух скифских каменных баб, стоящих рядом, откололись головы.

Внутренняя стена из тонкой, двухсантиметровой доски щедро чернеет сквозными дырками. Это рядом со входом, напротив бывшей ели. Выковыриваю из стены кусочек металла, похожий на обломок толстой проволоки. Он глубокой занозой вонзился под деревянную кожу. По кулацкой привычке засовываю в кошелёк, чтобы не потерять. Наверное, это осколок.

«Будешь сувениром!» – сообщаю ему.

На улице разыгралось солнце, весенний дымок горчит в горле. Мы идём к высокому берегу реки Кальмиус, к мемориалу ВОВ: высоким фигурам воина и шахтёра, к гранитным табличкам с именами погибших и выживших, к Вечному огню. Да, огонь горит. Он спрятан от порывистого берегового ветра в глубине мемориала. Вместе с нами к нему подходит юная парочка и стоит молча и серьёзно.

Сегодня санитарный день, устанавливают приезжую выставку «Нюрнбергский процесс», но мой спутник знаком с директором, и нас впускают без проблем.

Музей винтом уходит вниз, он немного похож на Минский, но не такой величественный.

Говорю об этом директору, и она вздыхает:

– Вот бы там побывать!

Я вообще люблю военные музеи, а этот почему-то вызывает во мне абсолютную симпатию. На территории

Донецка существовало гетто и лагерь военнопленных, в шахту № 4/4-бис сбрасывали тела расстрелянных горожан. Инсталляция с макетом шахты, скрежет железа, жизнерадостные портреты мертвецов в воздухе. Из тысяч выжил только один: притворился мёртвым, а при падении уцепился за канат, по которому затем и выбрался наверх.

– А здесь у нас новейшая история. Портреты и личные вещи погибших защитников Донецка – удостоверение, складной нож, телефон с разбитым экраном, – макет сражения при Саур-могиле...

Я замираю: современная война внезапно обретает наглядность. Фигурки воинов лежат и стоят в разных местах, кажется, что их очень мало.

– Сейчас памятник разрушен, только сапог солдата стоит. И один из барельефов тоже уничтожен. А вот там, у ступенек, – могилы наших ребят. И вот там, где ели, – тоже. Мы собираемся создать на Саур-могиле музейный комплекс, но сейчас это трудно: если история Великой Отечественной имеет какой-то угол освещения, то историческая справка по современности – материал неустоявшийся. Как делать музей – неясно.

Директор идёт дальше, открывает запертую дверь. Вдоль стены ровным рядом стоят круглые ржавые корпуса чего-то неприятного.

– Это то, что падало на город. Вот авиабомба, а это – снаряд от «Смерча». Там гильзы артиллерийских и противотанковых боеприпасов. Фрагмент мины. А вот знаменитые «Грады». Тот, дальний, был извлечён волонтерами из крыши нашего Краеведческого музея. Не совсем разорвался. Принесли нам.

Авиабомба распустила корпус корявой розой, «Смерч» едва ли ниже меня ростом и внушает ужас даже в разоружённом состоянии. Ураганы, управляемые ракеты,

фугаски, осветительный снаряд с оранжевым парашютом. Плотный столбик торчащей ежом толстой короткой проволоки. Такой же, какую я вытащила из стены Краеведческого. Это шрапнель. Не разлетевшаяся до конца. Она падала на жилые кварталы.

– А здесь письма с фронта.

– Этого?

– Нет, того.

Выцветшие треугольники, фотографии красноармейцев. Я не могу оторваться от выставленных снарядов современной войны.

И вот она – причина симпатии к музею: люди здесь не переписывают историю, они дописывают её современностью.

– Это только те снаряды, что не разорвались. И слава Богу!

Вечером едем на борщ к друзьям Марины. У них годовалая дочка Лиза, которая поначалу смотрит на нас с подозрением, а после начинает прыгать и радостно покрикивать. Ребёнок мгновенно отвлекает на себя внимание. Мы агукаем и корчим рожи, издаём какие-то звуки. Проходит час.

– Ой, что это мы всё о Лизе да о Лизе! – восклицает её молодая мама. – Давайте, что ли, о фашистах?

Да, терминология здесь вполне определённая. В ходу и «фашисты», и «нацики», и «укропы». От каждого второго я слышу: «Не забудем и не простим!»

Кусок шрапнели в моём кошельке мог попасть и в человека.

Ночью начинается обстрел Макеевки.

САУР-МОГИЛА

– А вот и она.

– Где?

– Перед нами, далеко.

Я всё равно не могу различить её среди других размытых у горизонта гор – терриконов.

– Раньше издали видно было по обелиску.

Машина такая стояла!..

Высота под названием Саур-могила – место жесточайших боёв в любую войну: отсюда весь район как на ладони. После Великой Отечественной, когда при штурме погибли тысячи наших солдат, на вершине установили обелиск и фигуру солдата с автоматом, а вдоль лестницы – четыре барельефа. Пехоте, артиллеристам, танкистам и ещё кому-то.

– Жаль, уже не узнать, кому... – вздыхает Маша.

Последний, ближайший к вершине барельеф полностью обвален в ходе недавних боёв.

– Исходя из логики – либо лётчикам, либо морякам. Моря у вас тут нет, значит...

Я три дня ныла Марине – выпрашивала поездку сюда. В эти места не доедешь запросто: сначала полтора часа на маршрутке до города Шахтёрска, потом полчаса своим транспортом по ответвлению от трассы. Мимо полей, танкового полигона, покалеченной обстрелами деревни Петровское.

Знакомая Марины из Шахтёрска – двадцатилетняя девочка Маша – везёт нас на машине. За рулём её муж Артём. Оба красивые и молодые. Оба воевали. Не здесь.

У подножья высоты небольшое кладбище: два ряда бойцов ДНР, ряд недавних могил со ржавыми советскими касками. Раскапывали новых – нашли старых, уже почти полностью безымянных, только три имени обозначены над десятью холмиками.

К дереву прибита доска с именами погибшего экипажа БМП-2 «Славянский гарнизон». Фотографии современников выцвели, кое-кто из них младше меня.

– Украинцы тоже тут похоронены или забрали? – Наверху есть общая могила, мне папа говорил, что там украинцы, – сообщает Маша. – А так, наверное, забрали многих.

Её папа был командиром.

– Их в бой бросали как мясо, – говорит Артём, – чуть ли не ротами, чтобы внимание отвлечь от самолётов, чтобы хоть кто-то пролетел. Наши сбивали самолёты, которые летели бомбить города. Ничего нет страшнее самолётной бомбёжки. Один гул чего стоит! Паника сразу!

Мы поднимаемся вверх по щербатым ступеням. День покрыт серыми туманными облаками, кое-где ярко сверкает голубое. Воздух свежий и сладкий. Почти нет ветра.

Жизнь – гениальный редактор – дорисовала то, что не посмел изобразить скульптор, ваявший барельефы. Стандартные лица и фигуры бойцов, идущих в бой, раненых и умирающих, стряхнули оцепенение, теперь они иссечены осколками, пробиты насквозь, и стекающая ржавчина похожа на кровь. Новая война оживила мёртвые изображения, и всё стало по-настоящему. Забетонированная боль живым потоком пролилась на землю, и крик пехоты летит над ней, и лязг железа не смолкает. Чем выше, тем страшнее, последний, рухнувший монумент придавил тела, вогнал их в землю, и лишь один воин силится выбраться из-под завала, и звериной силой дышит его окровавленное лицо.

– А не опасно ходить по траве? – на всякий случай спрашиваю я.

– Тут постоянно проводятся массовые мероприятия, перед ними проверяют. Снаряды давно убрали, но ради провокации могут и растяжку поставить.

Вверху ещё одно захоронение. Должно быть, недавнее, поскольку портреты не выцвели.

Золотая звезда Вечного огня, который не горит. Металлический каркас, похожий на кусок лодки, венчает лежащий обелиск.

– Слу-у-ушайте! – тянет Марина. – А ведь это смотровая площадка! Она была на обелиске, сверху... Ну да, вот люк для выхода, а это ограждение! «Какой бы дурак туда полез!» – ужасаюсь я.

Панически боюсь рукотворной высоты.

Слева облицовочный гранит лежит почти ровно, будто не падал с громады своего роста, а правая сторона искрошена, сквозь бетонные блоки прорвалась арматура, и высится над ней пустой сапог солдата, погребённого под завалами. В железные дыры голенища вдеты цветы.

– Сюда свадьбы так и ездят, как до войны, – говорит Маша.

На площадке – причудливо изогнутые металлические останки орудий.

– Зенитка, – говорит Артём.

– Само собой, – киваю я.

Обходим памятник вокруг, взбираемся на холм из обломков. Говорят, в ясные дни отсюда разглядишь клочок Азовского моря. Сейчас туманно, но видно далеко-далеко.

– Вот его рука, – кричит снизу Артём.

Под нагромождением бетона застыл кулак, сжимающий винтовку. От винтовки осталась ржавая планка, но и её не отпустила железная хватка. Я приседаю на колени и глажу ледяную руку мужественного человека, что навсегда исчез с лица земли. И Марина тоже её гладит.

– Его фигура летом была под завалом, было видно. Сейчас убрали.

– А кто его сбил? Украина?

– Украина, – кивает Артём. – Наши, конечно, тоже обстреливали, пока тут были украинцы, но быстро их вышибли. Сами заняли высоту и держали. И удержали! Обелиск в два захода падал: сначала одна половина, а через день – другая.

– Вот там, наверное, украинская могила! – показывает Маша. В стороне от обелиска стоят разрушенные здания кафешек, а рядом с ними ограда, на которой висят шахтёрская каска, трикотажный подшлемник, кожаные мужские митенки.

– Неужоженная, – вздыхает Артём, когда подходим вплотную, – травой заросла.

Ему жаль и тех, и этих.

Пока они с Мариной исследуют руины, я спрашиваю Машу:

– А правда, что ты воевала?

Маша отвечает односложно:

– Да.

– Кем?

– Помощником папы.

– А что делала?

– Что скажет, то и делала.

– И стрелять приходилось?

– Приходилось.

– Попадала?

– Попадала.

– Не снятся?

– Нет.

Я почти отчаиваюсь её разговорить, как вдруг она начинает рассказывать.

– Это не страшно, я думала, будет страшно, за психику беспокоилась, но как вспомнишь, КТО там и ЧТО они с нами сделали – и не страшно. Вот когда впервые взрыв

увидела – мороз по коже. Папа заставил нас уехать на море, в Крым, а я назад рвалась: так хотелось домой...

Красивая черноволосая девушка, по-народному закутанная в тёплый цветастый платок.

– Держи! – Марина протягивает мне ржавую железку – осколок снаряда.

Потом подбирает кусок железа, отбитый взрывом от барельефа, и сообщает:

– Вот такое на людей падало.

Беру его в руки. Килограммов пять, не меньше.

Если по затылку, то насмерть.

Сходим вниз. Отсюда видно, что насыпи над барельефами проломлены, в полое нутро одного вонзился железный рельс.

У подножия – каменные плиты с именами погибших в Великую Отечественную.

– Сколько тут народу полегло, – говорит Артём. – И тогда. И теперь.

Имен много, некоторые из них выбиты взрывами. Их, дважды убитых, наверное, уже не вспомнить. Отдельным списком – пропавшие без вести.

– А ведь, возможно, кто-то из них и найден сейчас, и похоронен в новых могилах. Повезло.

Сегодня мы первыми приехали сюда, а теперь подтягивается народ. Вверх поднимаются двое мужчин и подросток, возле стоянки старой боевой техники и новых автомобилей – группа военных с автоматами и пластиковыми стаканчиками. У ног мечется ноющий таксёнок.

– Помянуть приехали, – предполагает Марина.

Через минуту военные запрыгивают в машину и уезжают.

Меня трясёт, и я курю одну сигарету за другой. Мне жутко.

РАСКАЗ БЕЖЕНКИ

– Все говорят, что со Стрелкова началось. Не верь. Украина стянула технику и поставила перед «Коксохимом» – ещё Стрелковым не пахло. А они уже готовились. Это тебе любой житель Авдеевки скажет. Оттуда обстрел можно во все стороны вести: хоть на аэропорт, хоть на Ясиноватую. А нашим как стрелять? Попадут по заводу – вот тебе природная катастрофа. И тянется эта волынка, и люди гибнут...

«Коксохим» стоит рядом с Авдеевкой, в противоположном конце которой изгибом проходит шоссе. Долгое время ополченцы держались по одну сторону дороги, а украинские войска – по другую.

– Считаю, почти в окружении. Два месяца ни света, ни воды, как мы все от дизентерии не вымерли, не знаю. А лето, жара, представь? Обстрелы постоянно такие, что тебя ночью с кровати скидывает взрывной волной.

Ополченцам носили еду на передовую, она же прямо в городе была. А однажды ночью слышим: гул. Обрадовались, думали, что подмога. Смотрю – раз-раз, люди из посёлка стали стекаться к окраинам. Ну и я вместе с ними. Оказалось, украинцы идут. Все в камуфляже, с оружием. Наши-то первое время в трениках и тапках воевали, уже позже форма появилась. А эти едут, флаги жёлто-голубые по пути вешают: кто за дерево зацепит, кто за столб. Только проехали – народ их сдирает и бросает на землю.

И тем, кто говорит, что они освободители, – не верь. Вошли как фрицы. Если вы освободители, то где радость, где цветы-объятия? Народ стоял испуганный. Нет, справедливости ради скажу: пара каких-то криков была – дескать, молодцы, – но как-то вяло звучало.

Они подъехали и первым делом спросили, где у нас больница. А кто-то в ответ: вам зачем? И те в ответ: там

раненые сепары от нас скрываются, надо разобраться. Вот это зачем? Как они будут разбираться? Неизвестно, доехали они до больницы или нет.

А у меня сын в министерстве ДНР работает и как раз накануне домой приехал ночевать. Так-то не знали, что будет с Авдеевкой, ополчение вдруг отошло, он ночевал в Донецке. А тут взял и прикатил. И что делать? Разобрали диван, три дня его в том диване прятала, ведь посёлок маленький, все друг друга знают, какой-нибудь пьянчуга за бутылку скажет этим, кто есть кто.

Пыталась найти машину, чтобы выехать, – никто не берётся. Ни за какие деньги. Кое-как соседка согласилась. Только, говорит, вещей с собой не берите. Я взяла каких-то маек, кошку с собакой, заднее сиденье сняли, положили туда сына, накрыли чем-то...

У меня соседи по лестничной клетке пожилые: он армянин, она молдаванка. Мы общались, помогали друг другу. Она хозяйствует, то пирожки принесёт, угостит, то поможет с уборкой. А у него руки золотые, всё починит, прикрутит. Я им в ответ лекарствами помогала. Когда эти вошли, дед уже лежащий был. Как я их брошу?

Пришла и говорю: поедем вместе, ну найму не легкоушку, а грузовичок раздобуду. А она сидит возле его постели, сжалась как мышка, плачет. Мы, говорит, тебе раньше не рассказывали, но сами сюда бежали из Приднестровья, когда танки начали бить по жилым домам. Второй раз такое переживаем. И куда им теперь ехать? Отказались. Старикам трудно бросать нажитое. Не дай Бог никому. В декабре дед умер, она с какими-то старушками объединилась, живёт. Всё веселее.

И вот поехали мы в четыре часа утра. На улице ни души. Машин нет. А вокруг земля в воронках, «градины» торчат неразорвавшиеся, какие-то снаряды валяются, всё в железе, как в фильмах про войну. Рассвет начинается. Я еду и молюсь, чтобы Господь уберёт. Соседка моя

в руль вцепилась так, что костяшки побелели. А чем ближе к блокпосту, тем страшнее. Соседка говорит: главное, не нервничай и не плачь.

И так вышло, что одновременно к блокпосту подъехали мы и гружёная фура. На нас глянули: две бабы, что с них взять? И выбрали фуру. Нам машут, мол, проезжайте! Едва доехали до своих, как у меня слёзы хлынули. Ребят наших обняла, сына вытащила... Тихая истерика.

Соседка поехала обратно, нас ребята посадили на свою попутку. Добрались до Донецка, сын на работу пошёл, а я – жильё искать.

Вот теперь тут живём. Ничего не было поначалу, даже на работу выйти не в чем, потом как-то устроились, люди помогли, посылки из России присылали. Думали, на неделю максимум уезжаем, а вышло, что на годы. Квартиру в Авдеевке недавно обобрали подчистую, и ничего своего у нас не осталось, кроме тех вывезенных маек.

Ну скажи: разве нам было дело до Приднестровья? И не думали, что у нас что-то такое начнётся. И когда в России говорят, мол, это не наша война, хочется просто кричать: это счастье, что у вас такого нет, но ведь в любой момент может рвануть! Никто не застрахован от беды.

И наша вина в случившемся есть: проглядели 2004-й год. Вот когда всё началось: национализм, скачки эти... Надо было ещё в девяностых к России уходить, просто тогда никто об этом не думал – не до того было, есть хотелось. Но Украиной мы никогда не были и не будем. Мы русские.

А в Путина я верю. Он справится. Наверное, никто так не верит в Путина, как Донбасс...

Вечером Марина отпускает меня погулять в одиночестве.

– Куда пойдёшь?

– Не знаю... Наверное, через Донбасс-арену к реке.

– Стоп. Не надо туда ходить! Это небезопасно.

Значит, так: выходишь из подъезда, по диагонали дворами выруливаешь на Артёма и по Артёма гуляешь сколько влезет!

Я киваю.

Улицы пустынные, профили нескольких людей пролетают мимо меня в окнах троллейбуса. Вдоль дороги выстроились баннеры с портретом Моторолы и словами «Герои не умирают». Исправно горят фонари. Под ветром мелко трясутся деревья. Редко-редко ездят машины. Восемь вечера.

В правом ухе звенит Кристалинская, левым ловлю взрывы и пулемётные очереди где-то вдалеке. Порой кажется, что слабое эхо взрывной волны пружинит о спину и туго вздрагивает город. Воздух растеплившейся осени похож на раннюю весну, он накатывает удивлением, и хочется дурачиться. Несколько метров бегу по тротуару вприпрыжку, подпевая плееру, – меня некому застукать и застыдить. Хочется пинать листья, но старшие товарищи запугали возможными спрятанными растяжками, кто-то уже подорвался, и я не лезу. Счастлив человек, свободный пинать листья по первой осенней прихоти! Счастлив человек, не слышащий за спиной взрывов!

Я больше не думаю ни о Донбассе, ни о Приднестровье, я лечу по большому красивому городу, различая звук собственных шагов и пугаясь памятников, уличных ночных властелинов, что сходят с постаментов и бредут куда-то, вороша ореховые и кленовые кучи, не слушая взрывов.

ЛУГАНСК

Удивительно, как за неделю можно сродниться с совершенно незнакомым человеком. Утром простились с Мариной на Южном автовокзале.

Вслед за мной в автобус влезал дюжий детина в куртке-хаки с нашивкой «Спартак».

– Ого! – сказала Марина. – Гляди, с каким героем едешь!

Я кивнула. Хорошо бы узнать, что за «Спартак». Но лучше – после обеда, сейчас слишком хочется спать...

– Да какой я герой, – обиженным детским голосом ответил детина. – Вот наш комбат, он герой!

Обнялись с Мариной, помахали друг другу в окошко. Автобус тронулся.

Раньше дорога от Донецка до Луганска была прямой и короткой. Теперь частично её контролируют разные стороны конфликта, и пассажирские автобусы три с половиной часа пробираются партизанскими тропами. Через избитую Ясиноватую, не доезжая десяти километров до Горловки, поворачиваем на многострадальное Дебальцево. По всему пути следования – дома в шрамах от осколков, дорога, изрытая железными дождями.

И блокпосты. Сооружения в середине дороги завалены сверху пухлыми посеревшими мешками, и кажется, врыты в землю. Вход в них узкий и тёмный, как бойница в стене крепости. Мы медленно плывём мимо, никто нас не останавливает. Я смотрю во все глаза. Невысокий паренёк в каске и с автоматом видит меня в окне и показывает язык.

В Луганске меня встречают, заселяют в гостиницу, объясняют, как проехать в центр и исчезают. Я остаюсь наедине с городом.

Он невелик и по-советски прям, но мне хочется полюбить его так же, как полюбила Донецк, и я направляюсь в Старый город.

Он расположен ниже современного центра, когда-то здесь текла судоходная река Лугань, теперь её почти нет. Накрапывает дождь. Я спускаюсь от памятника

к памятнику, от здания в стиле модерн к покинутому людьми заводу, где корпуса скалятся разбитыми стёклами. Я люблю заброшенные здания – они начинают жить собственной жизнью, ни в грош не ставя людей, как близко ни подходи. Миную входную арку, осматриваюсь: будка охраны разбита, людей нет, вдали припаркована машина. Иду вдоль зданий, потом возвращаюсь. Смотрю на корпуса, где совсем недавно струилась жизнь.

– Девушка! – слышу далёкий крик. – Девушка! Вы чего здесь ходите?!

Их двое в штатском: парень со странным лицом стоит молча, а полный и кряжистый мужик орёт на меня во всё горло. Встаём лицом к лицу.

Отвечаю: мол, открыто всё – вот и хожу, откуда мне знать, что нельзя? Показываю паспорт, рассказываю про Донецк и гуманитарку, объясняю, где остановилась.

– Ходили у нас так двое, – отвечает мужик. – Парень с девушкой. Она белоруска, он украинец. Тоже внятно объясняли, тоже посмотреть зашли, и шо?..

– Шо?

– Оказалось, диверсанты! Город на военном положении. Чтобы мину подложить, много времени не нужно. Или маячок бросишь, а на нас потом «Ураганы» полетят, как в прошлый раз. Оно мне надо? Нет! А надо вызвать патруль и сдать тебя в комендатуру.

Я вижу, что ему не хочется этого делать, и храбро отвечаю:

– О! Круто! Я там ещё не была!

Пауза непонимания затянулась, и приходится объяснить:

– Я же писатель, собираю информацию о том, как живут простые люди в режиме войны. Вот наберите в поисковике «Дарья Верясова» – вам сразу статья Википедии вывалится.

Парень со странным лицом достаёт гаджет.

– Вер... как?

– Ве-ря-со-ва.

Он сличает фото с оригиналом, хмыкает и прячет телефон в карман.

Дождь усилился до ливня, и я не могу уйти из под навеса при всём желании.

– А как мы тут живём... – вздыхает мужик. – Я дома полтора года не был. Ни детей, ни жену не видел. Они под украми. И ни гуманитарки, ни сбережений. Ничего нет. Тут, при заводе, и живём. – Он кивает на административное здание.

Мы болтаем ещё минут десять; я спешу на встречу и выскакиваю под дождь.

Встречаемся с молодым человеком, который через общих знакомых согласился показать мне город.

– Представляешь, меня чуть в комендатуру не загребли, – смеюсь я. – На завод полезла.

– На патронный?

– Нет, на станкостроительный.

Андрей выпучил глаза и ответил:

– Это и есть патронный... Военное производство. Его специально Украина бомбила. Все местные знают!

Я пожала плечами:

– Так я ж иногородняя...

Андрей ведёт меня по Старому городу и рассказывает про невысокие особнячки: здесь базировался штаб Артёма, там в начале девятнадцатого века родился Владимир Иванович Даль.

– Но, скорее всего, это легенда. Его отец заведовал городской больницей, следовательно, и квартиру ему должны были выделить при ней. А это далеко отсюда.

Теперь в доме живёт музей. Во время обстрелов боялись, что в него угодит снаряд – вокруг много пострадавших зданий, они привычны и не вызывают удивления.

А «Спартак» – это батальон Моторолы, только не «Спартак», а «Спарта». Он, кстати, на том самом патронном заводе одно время базировался. Комбат.

КРАСНОДОН

Комендантский час и постоянная усталость приучили мой организм к отключению задолго до полуночи. Примерно в тот момент, когда вокруг тела образуется тёплое помещение с кроватью, я сыта и уже никуда не бегу. Тогда глаза слипаются, а голова клонится набок и куда-то вниз, утягивая за собой тело целиком.

Вчера по приезде в Краснодар потребовала вечернюю экскурсию к музею, памятнику «Клятва» и знаковым могилам. Не хотелось ждать утра, встречи с этим городом я ждала много лет – с тех пор, как впервые прочитала роман Фадеева. Было темно и прохладно, высоко над парком качались звёзды. Возле могилы молодогвардейцев почти над Вечным огнём нависала обнявшаяся парочка. Ещё два подростка стояли неподалёку. Могила широкая, она расположена не только под плитами с именами, и когда мы идём к памятнику «Скорбящая мать», то идём по телам.

За памятником строится храм, он в лесах и в железном ребристом заборе. Год окончания строительства неизвестен.

В глубине парка – могила закопанных живьём шахтёров: ступеньки, постамент, чаша с барельефом, на котором столько серебристой краски от весенних подновлений, что фигур и сцен не разглядеть. На табличке 31 имя, но людей там погибло больше: верхний слой стоял с вытянутыми шеями – это те, кто задохнулся, а были ещё убитые раньше и те, кто был связан колючей проволокой,

упал на дно и больше не смог подняться. Знаменитая деталь из романа «Молодая гвардия» – казненная женщина с младенцем – оказывается выдумкой автора. Нет, женщину казнили, а вот младенцу в ту пору было года два и после ареста и казни матери он жил у её родителей. Геннадий Саранча. Всю эту информацию я узнаю утром в музее. Пока что меня пробирает дрожь восторга и усталости. Из парка идём мимо школы имени А. М. Горького, где училась часть молодогвардейцев. Двухэтажное здание стоит углом, напротив музея, по другую сторону площади. А через дорогу от него трест «Краснодонуголь», он чуть выше. В него Серёжка Тюленин с чердака школы кидал гранаты. Меряю глазом расстояние: далеко. Но военная подготовка у школьников той поры была превосходная, возможно, про гранаты – это и правда. А где-то неподалёку домик Кошевых. Городок мал, наверное, мирной весной он уютен и красив, но сейчас осень, темень и война.

Дома едва не засыпаю в тарелке с жареной картошкой. Нет сил даже на то, чтобы поесть.

Утром за мной заходит представитель литературного мира Александр Иванович, недавно пострадавший от бампера иномарки, и ведёт на экскурсию по городу.

– Вот тут что-то было, только не помню, что именно. И там что-то произошло, только не помню, что именно, – рассказывает он мне.

– Да, – отвечаю. – Вы прирождённый экскурсовод!

Он не обижается. Лёгкий характер. Кажется, он даже на иномарку не держит зла. Заходим во двор школы (тут даже забора нет), рассматриваем старую кладку, которая с фасада замазана белой краской. Навстречу идёт женщина в фартуке, спрашивает, зачем мы тут ходим. Отвечаем: писатели. Потом из дверей выходит ещё одна и задаёт тот же вопрос. Внимательно следит за каждым

нашим действием. В окне кругло висит лицо третьей. Война учит подозрительности. Враг не пройдёт.

На площади митинг, мы встречаем казаков, что квартируют в клубе имени Горького, том самом, где была штаб-квартира организации, договариваемся приехать днём. Тяжеловесы-казаки легкомысленнее сотрудничишколы. Наверное, потому что вооружены, а я трогательно и беззлобно замотана в шарф.

В музее тоже наши люди: экскурсовод, которая ведёт меня по залам, пишет стихи. И ныне покойный директор Никитенко писал стихи. Меня перехватывает другой экскурсовод специально, чтобы прочитывать вслух его поэму «Главное – выстоять» возле картины «Казнь молодогвардейцев». Я смотрю на снег, на босые ноги, на рваную одежду и раны ребят, а в уши мне летит: «Мальчики! Мальчики!», и глаза щиплет, и носового платка, как обычно, нет.

– Невероятный был человек! Понимающий и простой. Тот случай, когда звания и регалии никак не отразились на характере.

Жаль, что я его не застала – умер всего два года назад. Не оправился после инсульта. Теперь на стене музея его мемориальная табличка.

– Раньше у нас было много документов, а теперь сделали более наглядной экспозицию.

Воспроизведена обстановка квартиры Третьякевичей и Арутюнянцев, над головой тянется копия арки Колхозного рынка, изображён поджог биржи. Майки, платья, обувь ребят и девчат, их личные вещи. Фотографии, дневники. Знаменитый огурец, выращенный в бутылке.

– Листовки. Это мы сейчас понимаем, что такое информация, когда три месяца без электричества посидели: ни телефонов, ни Интернета. Что происходит – никто не знает. И тогда так же было. Многие верили немецкой информации, что Москва взята, соглашались сотрудничать.

И вдруг – эти листовки! Недавно воссоздавали с ребятами ту обстановку, записывали сводку. В темноте, в духоте. Диктор говорит быстро. Не сразу сообразили записывать по фразе.

– А чьи дома ещё сохранились?

– Мошкова... Попова... Дом Почепцова тоже стоит, но в ужасном состоянии. Почти разрушен. Там никто не живёт. Вы если поедете в клуб Горького, попросите, чтобы дальнюю комнату открыли: там окно, из которого некоторые ребята убежали, когда арестовали Мошкова и Третьякевича. Эти уже не успели. Сейчас там, конечно, решётка.

Смутно припоминаю, что, кажется, Серёжке Тюленину удалось удрать из клуба в тот чёрный день первого января.

Здание тюрьмы не сохранилось, на её месте была построена почта, ныне лишённая даже мемориальной доски, железная арка над Колхозным рынком, на которой был повешен предатель Фомин, тоже исчезла.

Домик Кошевого украшен двумя мемориальными досками, но внутри уже давно работает контора то ли по правам детей, то ли по их защите. Калитка открыта, внутри по периметру растут кусты, слива догнивает под деревом, лежит деревянная крышка на колодце для слива воды. Напротив частного сектора – строй девятиэтажек.

– Что вам здесь надо? – скучно спрашивает работница конторы.

– Мы писатели, – привычно отвечаем.

Клуб имени Горького – он на Первомайке, мы едем туда неторопливым троллейбусом. Снаружи здание грязно-зелёное, а фасад неожиданно выкрашен в розовый. Рядом закрытая шахта имени Сергея Тюленина, вход украшен бюстами его и Олега Кошевого. Нелогично.

– Этого, как любимчика, всюду ставили, – машет рукой Александр Иванович.

Казаки долго изнутри открывают нам дверь – не могут найти ключ. В помещении темно и холодно. Примерно так же, как тогда.

– Тут ничего не изменилось, – говорит атаман. – Как было, так и осталось: сцена, балкон, плиты, деревянный пол. Кресла, конечно, заменили. Фильм Герасимова тут снимали.

Я поднимаюсь на сцену, и деревянные ступеньки почти не скрипят. Они неожиданно узки для клубного размаха с его высоченными потолками и широкими окнами. Сбоку две гримёрки, над залом нависает балкон, во время концерта там сидели немецкие офицеры.

В зале пусто и гулко от вытопанной истории. Только стены остались теми же, и глаза цепляются за них в попытке различить былые тени. Внутри пахнет заброшенной улицей.

На втором этаже когда-то была библиотека, оттуда не вылезал Ваня Земнухов. Сейчас там так же пусто. Из окна видно терриконы шахты №5. Мемориал «Непокорённые» не видно.

После экскурсии по клубу казаки позвали нас на чай в столовую, где большое блюдо покрывали неаккуратные бутерброды с паштетом и колбасой, а в половине трёхлитровой банки застыли жёлтые помидоринки.

Чай тёмной массой укрывал дно пластиковой бутылки, звался «дымкой» и приятно пах самогоном. Всем хватило по три рюмки. Вторую с молитвой – за погибших.

– И что, вы прямо настоящий писатель? – буйно восхищался казак. – А я за жизнь только три стихотворения написал.

Я опасалась, что он захочет их прочесть московской гостье, и теснила к двери своего спутника.

– Погоди, сейчас пойдём! – отбивался Александр Иванович.

– Проводи, – говорит казаку атаман.

Здесь есть памятник не только погибшим подпольщикам, но и первым коммунистам Краснодона. Он недалеко от клуба, на пустыре рядом с электровышкой в шесть тысяч вольт. Нас ведёт представитель местного казачества.

– А там за вышкой – памятник казакам. То есть понимаешь, на одном пяточке памятник палачам и жертвам.

– То-то между ними такое сильное напряжение... – киваю на вышку.

Казак застывает столбом: замечание пробрало его до мозга костей, и если раньше он мог сомневаться, то сейчас признал во мне настоящего писателя.

– Это дар! – восклицает он и предлагает отвезти нас к шурфу.

Дождь зарядил, и мы не отказываемся.

НЕПОКОРЁННЫЕ

Ехали мимо школы Ворошилова, она нынче перестроена, но, кажется, тоже имеет личный молодогвардейский музей. И 22-я имеет музей и тоже перестроена. Вообще школ в городе много, раньше я, исходя из романа Фадеева, думала, что только две.

Дождь моросил с неохотой, но лобовое стекло всё же заливало, и единственный работавший перед пассажиром дворник положения не спасал. Чтобы видеть дорогу, водитель-казак почти лёг на плечо Александра Ивановича, я тихо радовалась, что сижу сзади, а не на почётном переднем сиденье, подпирая могучий казачий бок. Положение усугублялось тем, что стёкла запотевали – Александр Иванович заботливо протирал лобовое платочком.

Почему-то я всегда думала, что место казни ребят находится на горе, а дорога петляла под уклон, и вдали уже показались три неровных зубца обелиска, что окружает шурф.

Казак не остановился возле начала аллеи, а подвёз вплотную, и, преодолевая чужое благородство, чтобы сделать всё как надо, мне пришлось идти назад к камню с надписью «1943» и оттуда шагать к шурфу. Высились над ним зубья обелиска, и скатывался к нему рыжий бок террикона. Вдали тарактели мои спутники, а я шла в одиночестве и молчании, как того хотела.

Моё траурное шествие прервал всё тот же казак. Он возмутился тем, что вандалы побили плафоны на фонарях.

– Вот-вот, видишь? – кивал он на ближние фонари. – А зачем? Для чего?

Я не выдержала:

– Товарищи, а давайте молча?!

Брусчатка перед памятником разрисована радостными ромашками и солнышками. Гранитные фигуры застыли в мучительном падении.

Это место знакомо мне с раннего детства. Эти имена я знаю наизусть и каждую жизнь могу рассказать вкратце, а длинно там не было. Только в полной тишине необходимо подойти туда, где они перестали быть. Уля, Тоня, Саша, Ваня, Витя, Серёжка...

Отверстие в земле накрыто решёткой, а сверху – плитой с памятной надписью. «15, 16 и 31 января 1943 года были казнены фашистами и сброшены в шурф шахты №5 участники подпольной молодёжной организации «Молодая гвардия».

– Там музей сначала хотели сделать, – говорит Александр Иванович. – Подземный. Потом решили, что с нервными экскурсантами много возни будет.

– И засыпали, – киваю я.

– Нет, просто решёткой заложили. Как ты его засыплешь? Это обратно весь террикон скидывать. Под решёткой темнота, но я кожей чувствую, как там глубоко.

Ближний террикон высокий, второй чуть ниже.

Если поставить один на другой, можно понять глубину шурфа. Взбираюсь наверх. Теперь я вровень с городом, что стоит на горе, и выше мемориала – видна гладь его кончиков. Мои спутники стали крохотными фигурками, они беседуют о своём и на меня не глядят.

Вниз спускаюсь осторожно – падать долго.

– А на новый мемориал ты её возил? – спрашивает казак.

– Та когда! – отвечает Александр Иванович.

– Поехали!

– Может, не надо? – осторожно предлагаю я, но меня никто не слушает.

Идём к машине, и я замечаю небольшой камень в ответвлении аллеи. От этого камня до шурфа едва ли сто шагов. Я узнаю его раньше, чем успеваю прочесть надпись.

Здесь стояло маленькое деревянное здание шахтной бани. Здесь провели ребята последние часы.

В темноте или при свете шахтёрской лампы? На чём они сидели? Как их выводили: вызывали по спискам или тащили тех, кто ближе? Сколько человек вели к месту казни? Заставляли снимать обувь и верхнюю одежду? Плакал ли кто-то или все молчали? Прощались друг с другом? Искали путь побега? Оставляли надписи или записки? Каково было полицаям убивать молодых и полных сил людей? «Умирать надо хорошо», – так говорили ребята в романе Фадеева.

Я слышу за стеной выстрелы, и затем рядом шёпот и всхлипы – в темноте не разобрать, чьи. Я слышу скрип

двери, внутрь врывается ветер, и будничный голос выкликает имена. Я слышу, как со стоном поднимаются с пола люди, и что-то вздрагивает внутри: не меня! Но скоро, скоро. И я жду. Нас мало осталось. Уже не холодно и не больно, мир прекратил существование, и время сжалось до слова когда, оно ударит звуком и пулей ворвётся в грудь, и падения я не пойму.

– Даша, поехали, замёрзнем! – окликает меня казак.

ВОЗВРАЩЕНИЕ

Война заселяет человека, как пустую комнату, влезает в повадки и навыки, война становится привычкой.

Мы шли с Мариной по вечеряющему Донецку, и грохот грянул над головой. Я дёрнулась от страха, а Марина махнула рукой и сказала:

– Это далеко! Когда близко – сразу слышно.

И мы пошли дальше. Больше взрывов не было. – А как это – когда близко?

– О-о-о! – засмеялась Марина. – Очень громко. Когда снаряд летит, тебя одним звуком на землю опрокидывает.

Сейчас земля сухая. Всю неделю обещали дожди, но вопреки прогнозам Донецк был солнечен и гостеприимен.

Ямы, оставленные в дорогах снарядами, нынче залиты свежим асфальтом – яркие тёмные квадраты не бросаются в глаза, если не знать истории их появления. Обычный дорожный ремонт. Близкие здания, крыши магазинчиков, урны, бордюры – всё в осколочных ранениях.

Навстречу идёт девушка в мини.

– В войну, наверное, юбок не носили? – спрашиваю Марину.

– Почему? – удивляется та.

– Ну колготки... обстрелы... порвутся, если падать...

– Да нет, носили.

Марина молчит, а потом сообщает:

– В войну другого боишься. У меня малая гостила, пошла в магазин, а ей подруга с окраины звонит на сотовый: «Ты где? – спрашивает. – Ложись, от нас стреляют в вашу сторону!» Там же как получается: если укры стреляют по центру, то над окраиной снаряды пролетают, их видно. Объявлений никаких нет. Это если бы самолёты засекали издали, тогда успевали бы объявить тревогу, а обстрелы всегда неожиданно начинаются. И люди наловчились помогать друг другу звонками. Вот подруга говорит, когда снаряд выпускают, а малая падает. Только на окраине затихло, подруга говорит, что можно встать, малая подскакивает – и домой. Добежала, звонит мне: что делать?! Она ещё необстрелянная была. И понимаешь, что самое страшное? Не то, что к тебе снаряд прилетит, – самое страшное то, что ничем не можешь помочь родному человеку.

Вопреки прогнозам город живёт и растит детей. Они гуляют с родителями по широким проспектам и бульварам: взрослые пешком, малыши – в колясках. Они играют в центре на детских площадках и кормят уток, что живут в водоёмах. Семьи выгуливают детей, рождённых перед войной и зачатых под бомбёжками. Жизнь приравнивается к любым условиям.

Я возвращаюсь в Москву ночной машиной. Проходим таможни, и на российской земле я наконец-то чувствую себя в безопасности – тут можно не бояться, мина не прилетит и осколок не ударит в тело. Война поселяется в человеке, едва коснувшись её. Тёплый салон машины качает, и я засыпаю.

Я стою в середине безлюдной улицы и вижу, как темноту режут яркие всполохи света. Небо простуженно свистит утробой, от него некуда деться. Снаряды перелетают пятиэтажку и лопаются за её хребтом. Это слишком близко.

Ноги подгибаются, но надо бежать прочь. Уши захлёбываются грохотом. Я мчусь по улице как от погони и чувствую всем нутром, как неотвратимо стремится к земле острый нос снаряда, как он врезается в тротуар. Что-то мягко толкает в плечо, опрокидывая меня навзничь. Темнота сгустилась, и грохот уполз в сторону. Пытаюсь встать, опираюсь руками и заваливаюсь набок, лицом в липкую тёплую лужу. Правая рука не держит. Подношу ладонь к лицу, шевелю пальцами, но вижу пустоту. Смотрю на плечо – из чёрной культи судорожно бьёт кровь, и нигде вокруг нет моей руки. Ползу, переворачивая куски камня, отгребая месиво осколков, но руки не нахожу и, одурев от усталости, затихаю в наступившей темноте.

– В туалет пойдёте? – окликает пассажиров водитель.

Шесть утра. Мы хлопаем дверьми, выстужая сонный уют. В глазах песок, и колотится сердце. Телефонная смска приветствует меня на заснеженной московской земле.

Война навсегда поселяется в человеке.